



КИИТИ САСАКИ

Мой Чехов

<Фрагмент>

<...>

Я продолжаю до сегодняшнего дня оставаться преданным читателем Чехова, с тех пор как начал читать его рассказы еще в юности. Несмотря на то, что по возрасту я уже давно обогнал Чехова, который ушел из жизни в сорок четыре года, я, как и прежде, не могу забыть очарования его творчества. И сейчас порой под настроение меня охватывает желание перечитать еще раз тот или иной рассказ. Сколько бы я ни читал Чехова, мне не надоест, а перечитывая, еще ни разу не было, чтобы я с горечью для себя отметил, будто мне было неинтересно. Причину я вижу только в том, что я еще не до самого конца вчитался в его текст.

И, несмотря на это, я не охвачен «призраком Чехова», как Кадзуо Хироцу (японский писатель (1891–1962) — *прим. переводчика*).

«Я думаю, что, не избавившись по-настоящему от призрака Чехова, мы останемся связанными по рукам и ногам. Нам не нужен больше смех сквозь слезы. Не нужен печальный юмор. Как бы хорошо ни знал Чехов человеческую природу, нам уже больше нечему в этом научиться у него.

Как-то раз я сказал, что он именно тот автор, которого я вспомню на смертном одре. Когда придет мой черед, когда на мгновение перед моими глазами пронесется вся моя жизнь и ее лики, то вместе с солнцем, лунным светом, свежим воздухом, синим небом, а еще лицами моих родных и любимых, я, наверное, увижу и улыбку на бледном лице Чехова, настолько глубоко он проник в мою душу» («Рассказывая о своей душе»).

Об этом Кадзуо Хироцу написал в 1929 году (4 год Сёва). Совершенно справедливо, что, начиная с середины годов Тайсё

(годы Тайсё — эпоха с 1912 по 1926 гг. — прим. переводчика) до первых годов Сёва японские литераторы, драматурги, интеллигенция видели большое очарование в пессимистичной стороне творчества Чехова, восхваляя его как поэта, поющего лебединую песню о пустоте человеческой жизни. Хироцу чувствовал, что, если не положить конец восприятию только этой стороны творчества Чехова, то невозможно будет двинуться в понимании его ни на шаг вперед. Такое высказывание говорит о том, насколько глубоким и значимым в то время было влияние Чехова.

Когда я подростком начал читать Чехова, это был как раз 1929 или 1930 год, то самое время, про которое Кадзуо Хироцу пишет: «не избавившись по-настоящему от призрака Чехова, мы остаемся связанными по рукам и ногам». Я читал Чехова не потому, что это было особым веянием или литературной модой тех лет, и, следовательно, не попал под такое сильное влияние, которое бы «перевернуло систему ценностей в жизни», как говорит Кадзуо Хироцу. Подростком я почувствовал привлекательность прозы Чехова, наверное, потому, что она оказалась близка мне по темпераменту. А может, пусть в то время я еще явно не осознавал этого, я чувствовал близость в изображении природы и человеческой жизни, в которой радость и уныние как картинки калейдоскопа, то и дело сменяют друг друга. Мне казалось, в произведениях Чехова есть что-то, что скрывается в близком нам мире, что-то неведанное, поддерживающее жизнь или лишующее человека жизни, какая-то удивительная сила, которая благодаря произведениям касается нас.

Ты видишь силу воли, пронизывающую произведения Чехова и саму его жизнь, беспрестанный поиск, сомнения его героев зрелого периода творчества — я ничего не понимаю в этом мире — и их желание от всего отказаться. И это занимает довольно много времени, пока во всем этом не обнаруживаешь мудрость Сократа. Однако в моей жизни был толчок, который открыл дорогу к этому знанию. Та самая война, которая наполнила собой мои двадцатилетние годы. В серые восьмидесятые и девяностые годы девятнадцатого века в России он смотрел вперед, продолжал жить отважно и старательно, а не биться головой об стену и рыдать, не сводил концы с жизнью, бросаясь в лестничный проем, как Гаршин, не пытался скрыть пустоту какими-то готовыми идеями, сражался с пессимизмом и нигилизмом, несмотря на соблазн им поддаться. Когда я читал рассказ «Студент» (1894), до сих пор помню, как не мог сдержать слез. Темным промозглым вечером по полю домой возвращается мо-

лодой человек, охваченный мрачными мыслями. Он оглядывается вокруг себя и думает о том, что «такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше». По пути он замечает, как две вдовы-крестьянки сидят около огня, а подойдя к ним, вспоминает, что и апостол Петр такой же холодной ночью грелся подле огня. Он рассказывает вдовам, как Петр трижды отрекся от Иисуса до того, как запел петух. Отрекшись трижды от Иисуса, Петр вышел из сада первосвященника и горько-горько заплакал. И стоило молодому человеку дойти до этого места в своем рассказе, как он увидел, что обе женщины заплакали, а крупные слезы потекли по их щекам. Попрощавшись с ними, молодой человек подумал о том, что причина, по которой вдовы прониклись этим рассказом до слез, заключается в том, что они восприняли переживания Петра как свои собственные, это поразило их в самое сердце. От этих мыслей душа молодого человека наполнилась радостью и волнением. «Прошрое, думал он, связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой». Его настроение резко меняется по сравнению с первой сценой, и «невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу», и с таким чувством он направляется домой.

Чехов не повлиял на мою систему ценностей человеческой жизни в плане идей или концепций. Однако проза Чехова научила меня тому, что такое радость и горесть человеческой жизни, что такое мечты и устремления к истине и красоте, которые поддерживают нашу жизнь, что такое сила воля и храбрость для того, чтобы жить.

Илья Эренбург в 1959 году, накануне столетия со дня рождения Чехова, перечитывая его произведения, писал о том, где находится источник нестареющего очарования его прозы.

«Стендаль писал: «Нужно сделать так, чтобы приверженность к определенной позиции не заслонила в человеке страстности. Через пятьдесят лет человек определенных позиций не сможет больше никого растрогать. Только то пригодно для описания, что останется интересным и после того, как история вынесет свой приговор». Мне кажется, что эти слова точнее всего объясняют жизненность произведений Чехова. История давно вынесла свой приговор и доктору Львову, и «Княгине», и сестре бедной

Мисюсь, и презрительному сыну сановника Орлова, и прочим героям Чехова. Нас интересует теперь не то, о чем эти люди спорили, прочитав газету, а то, чем они жили: их любовь, страдания, радости помогают нам понять себя, наших современников» (Илья Эренбург «Перечитывая Чехова»).

Высказывание Эренбурга, довольно очевидное, представляет отпор схематичной упрощенной критике, которая видит в произведениях лишь отражение времени или идеологическую позицию, и является в этом смысле ответом на такую критику. Однако в отношении Чехова я, вслед за Эренбургом, считаю, что нам больше ничего не остается, как признать очевидную истину очевидной. Очарование произведений Чехова можно сравнить с цепью во фрагменте рассказа, где студент говорит об апостоле Петре. Тронув один конец цепи, дрогнет другой. Истории, написанные Чеховым восемьдесят лет назад, сейчас находят отклик в моем сердце на другом конце цепи.

